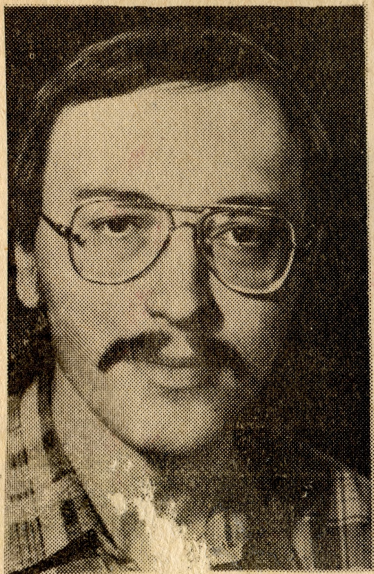




Уропо
Урдақиев

КҖИЮЧ

стиху



Игорь Чурдалёв родился в 1952 г. в Севастополе, с детства живет в г. Горьком. Служил в Советской Армии, учится в Горьковском университете на историко-филологическом факультете. Освоил несколько различных специальностей. Работал монтажником кабельных линий связи в Сибири, такелажником в Крыму, матросом на Волге. Основная профессия — художник-конструктор. Стихи публиковались в журналах «Юность», «Литературная учеба», в коллективных сборниках.

К 84 (2 Рос = Рус) 6
493

Игорь
Чурдалёв

КЛЮЧ

СТИХИ

И/В

ЦБС Приокского района



* U 9 2 3 8 *

Горький
Волго-Вятское
книжное издательство
1983

Центральная районная
библиотека им Т.Г. Шевченко
МКУК ЦБС Приокского района

Читальный зал
МКУК ЦБС Приокского района

ББК 84р7
Ч93

Рецензент
В. Кумакшев, член Союза писателей СССР

Чурдалёв И. В.

Ч93 Ключ: Стихи. — Горький, Волго-
Вятское кн. изд-во, 1983. — 47 с.

20 коп.

Первая книга горьковского поэта. Мир, запечатленный
в его стихах, привлекает своей сложностью, разнообра-
зием, обилием ассоциативных связей.

Ч $\frac{4702010200-055}{M140(03)-83}$ 40-82

ББК 84р7

© Волго-Вятское книжное издательство, 1983 г.



*Моей бабушке
Галине Сергеевне
Мусихиной — с любовью
и благодарностью*

Я — след своей бабушки,
 славной не тем,
что громкой судьбы
 или тонкой породы —
а тем, что учила крестьянских детей
в двадцатые годы, в тридцатые годы...
На выцветшем фото она молода,
со строгим лицом
(но очерченным плавно),
в пенсне старомодном
(но модном тогда),
во френче холщовом
(но скроенном ладно).
Ломал ее век,
а унизить не смог.
Морил ее голод,
 секла ее вьюга.
Стрелял из обрез кулацкий сынок,
да, к счастью, с похмелья промазал,
 зверюга.
Бомбил ее «юнkers»,
валил ее тиф.
А бабушка,
мало того что живая,
но отчете слово,

но пушкинский стих

хранила,

ребячьим сердцам прививая...

Я вместе со всеми ходил в ее класс
и как ученик был желаннее внука,
и пробой ума подтверждалась наука,
которая кровью
мне передалась.

А маятник четко

отщелкивал год

за годом,

и гирька ползла на цепочке —

Тик-так,

ледостав, снегопад, ледоход;

то падали листья,

то лопались почки...

Я вырос.

Я принял людские дела.

С кайлом по Сибири, по Крыму с гитарой
носило меня,

и у окон ждала

Галина Сергеевна в кофточке старой.

Так вышло. Мы с бабушкой

жили вдвоем.

Я целился в небо. Я шел на рекорды.

Но помнил,

как чист и глубок водоем,

питавший мои сокровенные корни.

ЭСКАДРОН

Под трубами медными,
под всполохами знамен
поступью медленной
уходит эскадрон.

Льнет ковыль, пошатываясь,
к конским ногам.
В ножнах обшарпанных
снится кровь клинкам.

Нашла жилье уютное,
пробив шинель, —
в груди комэска юного
дремлет шрапнель.

А справа и слева,
над мрамором лиц
на истлевших шлемах
звезды запеклись.

Стук копыт дробный,
да ворон кричит
в синей огромной
глухой ночи...

Так поступью медленной
уходит эскадрон...
Сколько лет следом я
мчусь вдогон,
турбины нахлестываю,
пришпориваю дизеля,
наверстываю, наверстываю —
да, верно, зря.

И уже едва видны —
гони — не гони —
шелковыми травами
едут они.

Чуть песня слышится —
не понять слов.

Да ответ колышется
на стали стволов...

«ЗЕМЛЯНКА»

Не сытно едим ли? Не сладко ли пьем?
Иль песнями мы обедняли?
Зачем же о старой землянке поем,
которой в глаза не видали?

Не мы ли речисты, не мы ли умны,
красивы и ладно одеты?
Ведь мерзли не мы и терпели не мы.
И пулями мы не задеты.

Как хочется знать, что и мы бы смогли
Осилить години такие.
Но все же — другие тогда полегли.
Не мы, а другие, другие....

Их время обуглило, воспламенясь,
а нам улыбнулось счастливо.
Но главные песни его — не про нас.
Все правильно. Все справедливо.

ПАРОВОЗ

За оградами окранных заводов,
в искореженных пространствах пустыря,
все предельные ресурсы отработав,
спят обломки проржавелого старья.

Динозавр цивилизации железной
Вторчерметом по бесхозности забыт,

там на ветке, теплотрассой перерезанной,
довоенный паровозище стоит.

Даже здесь стальная мощь неколебима,
словно ждет еще последнего рывка.
Как темна его побитая кабина,
как над волнами бурьяна высока!

Как пугает его топка тьмой бездонной,
как тоскуют без уверенной руки,
отшлифованы наждачною ладонью,
непомерные, литые рычаги!

Жизнь он прожил напрямик, а не вкривую.
Знался только с честным делом непростым.
Оттого-то под защиту броневую
так порою вдруг потянет на пустырь.

Будет худо — не размазывать же слезы
от бессилья перед злобной жижей лжи.
Отступлю туда, к останкам паровоза,
на исходные стальные рубежи.

Будь что будет. Надавлю на рукояти.
Пусть трещит по швам рогожа тишины.
Пусть взывает пламя яростней и ярче,
оживляя кривошпы, шатуны.

Пусть со скрежетом пропадет сталь по стали,
уводя ободья тяжкие в разгон.
Все разбитые манометры зашкалив,
пусть умчат меня железо и огонь.

Ляжет сажа на детали грубойковки,
злые искры понесутся под откос —
и горячая мелодия «Каховки»
вновь рассыплется меж стыков и колес...

ОПОРЫ

Я с колючей тайгой
оставался один на один.
Ее иней сбивал,
топором о деревья звеня,
Я укладывал в ряд
по двенадцать саженных жердин,
чтоб, соляркой облив,
накормить ими прорву огня.

Он взвивался, огонь.
Он лизал мне ладони, как пес.
Искры в рыжей шерсти
жили тысячью блох золотых.
Он дарил перекур
из припрятанных двух папирос.
Он платил за добро
отогретым клочком мерзлоты.

И вонзался мой заступ,
о корни и камни скрипя,
Пальцы выли от боли
в темницах сырых рукавиц.
Мерзлота огрызалась.
Но к ночи вбирала в себя
три длины черенка...
А потом приходил грузовик.

Так врывались опоры.
Выкапывал и засыпал.
Помню каждый рассвет
и товарищей — до одного.
Помню все. Лишь не помню
момента, когда засыпал...

И хотя это все приключилось
довольно давно —
на-ка, выкуси, Вечность,
меня в перегнутой превратив.
Я на времени
оспиной буду уже потому,
что в невидимых недрах
одной запятой директив,
девятнадцатилетний,
я строю опоры ему.



Как без тебя я жил?
Сказал бы, да солгу.
Постыдно лгать врагу,
тебе — стократ не стоит.
Сказать, что просто жил?
Но тоже не смогу,
Банален факт, что жить —
занятье не простое.

Как стрелки шли назад,
к минувшим чудесам,
как прошлый снег кружил,
являясь ниоткуда, —
и рад бы рассказать,
да не пойму и сам.
А все же как-то жил;
ведь это тоже чудо.



Пройди, моя любовь.
Бессмертной быть жестоко.

Окончись, жизнь моя, угомонись в груди —
не ранее судьбой назначенного срока,
как можно дольше длись —
но все-таки пройди.

Все вечное мертво.
Ни горя в нем, ни чуда.
И жутко уходить в его пустую тьму.
А я еще люблю.
И радуюсь покуда
случайному с землей
свиданью своему.



Еще над нами лето не умолкло
и ветры его просятся в окно —
и жизнь твоя распахнута как окна
в просторном доме, где друзей полно.

Потом на сердце ляжет лист опавший,
придет за ним свирепая пурга,
как нынешние дни на день вчерашний,
тяжелые навалятся снега.

И все-таки все кончится прекрасно,
и все-таки не страшно ничего,
затем что время все-таки не властно
над тем, что приключилось до него...



Уже не плачу по ночам.
Но разрывает, как пружиной,

неисцелимая печаль
по чистоте недостижимой,
по умирающим во мне
словам высоким и правдивым,
по этим снежным переливам,
по этой хвойной стороне...



Ничего печальней нету,
если налегке
кто-то движется по снегу
в белом далеке.

Встала снежная крошечность,
зренье одолев...
Лишь деревья. Да, конечно,
как же без дерев.

Сквозь темнеющие ветки
путь его пролегал.
Полно, правда, — человек ли?
Больно уж далек...

Дальше, чем хватает крика,
пуст блестящий наст,
словно вытекла соринка
со слезой из глаз.

Вправо, влево или прямо —
нету ни следа.
И кому здесь взяться, право,
что за ерунда.

Кем-то был и я замечен,
только что с того?

Лишь деревья. Да, конечно,
больше ничего.



Уже мне молодость не в новость —
ее веселую возню
смакую,
но определенность
судьбы спокойно сознаю.

А за окном смеркаться стало
так рано,
и земля бела —
как будто музыка настала,
где прежде живопись была.



Как бы печальные японцы
нарисовали нежной тушью
озябшее, сырое солнце,
едва заметное сквозь тучу.

Так странен вид деревьев голых —
в два дня листву дождями смыло.
На тополь, как на иероглиф,
смотрю, не понимая смысла.



Листья давно облетели,
голыми сучья оставив —

словно на юг улетели,
на небе крики оставив.

Осиротелое небо
взор неподвижностью ранит.
Лишь эти ветви на белом
невыносимо горланят!



Прохожий поймает за локоть —
замру...
Но в лице изменяясь,
он вздрогнет:
— Какая неловкость!
Я спутал с приятелем вас...

Наверное, где-то встречались,
скитаясь в юдоли земной...
Так что ж ты уходишь, печалясь,
товарищ неузнанный мой?



Снега чрезмерны, как на вырост,
на детских плечиках земли —
и лишь нагих деревьев сирость
среди бесчувственной зимы.

Лелеял взгляд любую малость,
на белом вкрапленную чернь.
А дальше небо начиналось,
чтобы не кончиться ничем.

Кощей-февраль, угрюмый месяц,
лизал оконное стекло.
Нижегородские предместья
в дымы укутались тепло.

И деловитый, как стекольщик,
резец ведущий по стеклу,
пыхтел усердный ледаколычик,
кроя хрустальную Оку.

Едва сугробы приминали,
они наваливались вновь,
послушно формы принимали
прохожих, скверов и домов.

И все, что живо в человеке
с его любовью и тоской,
светло запечатлялось в снеге,
кружащемся весь день-деньской.



Мир проявляется с рассветом,
как дилетантский фотоснимок:
все зыбко в нем.
И все предметы
просвечивают сквозь друг друга.

Сквозь воздух вскинуты упруго
деревьев ветви.
Между ними
Светлеют смутно стены дома.

Там, в окнах, — тусклое стекло.
В небытии, меж рам оконных
осела пыль на крылья мух.

Уже становится светло
настолько, что доступны взгляду
ячейки комнат.

Теплый пух
перин
окутывает сонных
мужчин и женщин —
судеб двух
бесчисленные повторенья...

Баюкает стихотворенье
их мерного дыханья звук.

Но резче фокус:
плоть людей
во сне просвечивает тоже.
Струится через поры кожи
поток невидимых лучей:
как бы рентген пронзает кокон.

Что там, внутри? —
виденья, сон.
Деревья.
Между ними дом.
И слабый свет на стеклах окон...

Спи, город мой. Не ведай зла
пред чистым, как роса, рассветом,
покуда утренним газетам
земля приказ не отдала
отлить свою тревогу в строчки,
кричащие о злобе дня.

...Пока будильники молчат,
над колокольцами подняв
назойливые молоточки.

КОМПОЗИЦИЯ НА ТЕМЫ РАННИХ СТИХОТВОРЕНИЙ

Как это было?

Я забываю.

Кажется — травы вставали до неба,
что-то шептала

девочка рядом,

мчались друзья на подножке трамвая,
юностью сладкой
переболевая...

Все было летом, и все было садом.

Были свиданья на кладбище старом,
и паучок нас смешил на могиле,
ибо, как боги, бессмертны мы были.

Лет не считали

и дни торопили —

месяцы наши, наши недели

мчались, как гоночные автомобили,
на поворотах сшибаясь, горели.

Если же дома сидел ненароком,

только и ждал, чтобы в дверь позвонили.

Помню: срываюсь, лечу, открываю...

Кто ты,

стоящая там, за порогом?

Чтоб не завить от тоски —

забываю.

Дверь забываю.

За дверью забитой

дребезги чьей-то мальчишеской жизни —

длинные локоны, драные джинсы,

битловский грустный мотивчик

забытый.

Как ты мелодию эту любила!

Если бы легкие снова заполнить

песенкой прежней

про то, как все было...
Но невозможно
все было запомнить.



Школьник седеющий,
все я боюсь ощутить себя взрослым.
Мертвой свободой ума захлебнуться,
утопая в омуте лет.
Только представьте —
ужас! —
проснусь я однажды утром,
умный,
точно чугунный коток
среди детских песочниц,
в точности зная,
как поступить я обязан..
Если солгу — то с расчетом.
Если напьюсь — то от скуки.
— Любишь ли? — женщина спросит.
— Да, — я отвечу, —
за что ж мне тебя не любить?..

СОСТОЯНИЕ

Они вломились к белошвейке в дом.
Но граф один расправился с канальями..
Не понимаю. Закрываю том.
Включаю ящик. Щелкаю каналами.

Флорида. Дансинг. Пьяная толпа.
Поп-групповое изнасилование музыки.
Два полисмена ставят на пола
лежащую девицу в джинсах узеньких.

Останкино. Поет Бюль Бюль Оглы.
Ткачихи в зале пленены видением.
Футбол. «Спартак» не выдержал игры,
навязанной армейским нападением.

Не понимаю. Клавишу топлю.
На улицу иду... И на углу

друзей встречаю. Тотчас проясняется,
что граф — увы! — женился на другой,
что рок тяжелый видоизменяется,
Бюль Бюль не в моде, а последний гол
был не засчитан, растакая мать!..

Я тихо начинаю понимать.



Спасибо, ящик-телевизор,
наперсник скуки и хандры!
Я видел небо, землю видел.
Я понял правила игры.

В морях, где айсберги в тумане,
в горах, где рушится обвал, —
с бокалом пива, на диване,
я страшно жизнью рисковал.

Мерцают строки голубые.
Изображение дрожит.
Слежу за обликом любимой,
той, что не мне принадлежит.

...И, вырвав штепсель из розетки,
итоги подобью в свой срок:
я видел небо, видел землю —
лишь прикоснуться к ним не смог.



Еще не сутулый в плечах,
еще не научен печалью,
швыряющий слово «Прощай!»,
не помнящий слова «Прощаю»,

По новой созвавший на пир
ватагу, как только проспался,
он в скупку отнес и пропил
кольцо с безымянного пальца.

Бывалый подсказывал друг,
и вторили пьяные рожи,
что надо загнать было с рук,
и это бы вышло дороже.

А он бормотал до зари,
покуда орал и пили,
что с рук бы кольца не купили —
ведь там ее имя, внутри...



Конечно, грущу я напрасно.
Весь мир существует напрасно,
когда ты уходишь — напрасно! —
а я повторяю вослед:

— Любимая!

Как ты прекрасна,
прекрасна, прекрасна, прекрасна —
теперь и всегда, ежечасно
на горстку оставшихся лет.

Платить по счетам не впервые.
Не выть же

с веревкой на вые.
Небесной глотнул синевы я,
но вскормлен краюхой земной
и знаю:
наш миг уже прожит,
никто нам теперь не поможет.
Но может быть, может быть, может...
Да, что это, право, со мной?

НОЧЛЕГ ДОН ЖУАНА

По дороге в Севилью,
край серенад и рашир,
Дон Жуан
непогодой в случайных стенах остановлен,
отобедав обильно,
вино андалузское пил
и пытался уснуть
под шараханье ветра над кровлей.
— Завтра надо спешить...
Доскакать, обгоняя молву.
Что минуло — забыто.
А что впереди — неизвестно.
Поединок решит.
Или ласковый взор на балу...
Только будут моими
две ямочки этих прелестных!
О, блестящий повеса!
Скиталец.
Подлец из легенд.
Как вериги,
влячатся вослед за тобой прегрешенья.
Столько было
ненужных,
не греющих сердце побед!

Может быть,
наконец,
ты заслужишь свое поражение?
До обидного просто.
Интрига почти удалась.
И легко отдавать забвению забубенное тело...
Но очнешься под утро,
тоскою своей

подаваясь,
заорешь в темноту —
и воды принесет Лепорелло.
Предки бельма с портретов
впирают в пустой коридор.
Что ж ты, каменный враг?..
Или спишь на своем пьедестале?
Где уж было тягаться
тебе,

истукан-командор,
с одиночеством —
с тем,
что острее отточенной стали.
Мир не хочет любви.
Лишь фальшивая слава блестит.
И пока

Дон Жуана не кончат
разгульные ночи,
не предвидится битв,
где покой суждено обрести,
и прекрасная Анна
обычна,

как тысячи прочих.
Горек путь на заре.
Видно, с вечера где-то простыл.
Кружит голову дрема.
И песня копыт монотонна.
Выбивают они:

— В монастырь...

в монастырь...

в монастырь...

Но пришпорить коня!

Не простит опоздания Донна.

ГЕНУЭЗСКАЯ БАШНЯ

1

Невероятно!

Чертова беспредельность,

кто тебя осознает,

синюю прорву,

полную бархатным светом?

2

Ляжем на теплую землю,

в ночную траву.

Слышишь? —

там, высоко, среди звезд,

цикады живут.

К нашим плечам прислонясь,

дремлет Вселенная.

3

Что?

Если умрем?

Если исчезнем?

Невероятно!

Что же заполнит тогда

дольки пространства,

отведенные нашим телам?

4

Здесь нас никто не увидит.
 Не стыдись ящериц, спящих в камнях, —
 нет существ молчаливей.
 Отпусти на свободу
 руки, волосы, губы.
 Пусть сами решат свою участь.

5

Некогда грозная башня —
 руина над морем.
 Сколько мышиных зубов времени
 о нее сточилось!
 Что ей крохотные часы наших свиданий?..

6

Кинем в эту траву
 наши раздумья, наши соменья.
 Помнишь — даже змея сбросила здесь
 отслужившую свою кожу.

7

Тише! — синяя беспредельность
 в нас норовит ворваться.
 Осторожней вдыхай
 этот огромный воздух...

8

— Любимый,
 ничего не бойся.
 — Но ведь мы же падаем в бездну,

ничто нас уже не удержит,
родившихся однажды...
— Любимый,
ничего не бойся.

9

Любовь моя, ты проходишь,
жизнь моя, ты проходишь,
ты меня покидаешь,
отслужившую свою кожу!..

10

И лишь на рассвете бледном
оглядываюсь и вижу,
что в сущности все просто:
трава, камни, крепость.
На глазах обмелело небо...
Сам смеюсь своим бредням.

11

Невероятно!..
.



Это в прошлом — грусти не грусти.
Впрочем,
все бы могло быть и хуже.
Мы расстались давно.
Почему же
умоляю тебя: отпусти?!
Те же чайки за молот кричат.

Те же волны на отмель ложатся.
Есть соблазн все с начала начать.
Но хватает ума удержаться.
Ведь не вырвать плачевной главы —
так на славу сколочена повесть.
Если б женщина только!
Увы! —
отпусти меня юность и совесть.
Как потом, как теперь, как тогда,
с этим берегом не разминуться.
Нет прошедших и канувших дат.
Все при мне.
Есть соблазн зарыдать,
но хватает ума усмехнуться.
Та же жизнь — ведь живем снова.
Те же волны и чайки, и ветер...
Отпусти! — говорю.
Черта с два.
Лишь такой же усмешкой ответит.

ХЕРСОНЕССКИЙ ЭТЮД

Обломки плит — античные погосты,
и колокол, лишенный языка,
и базилики мраморные кости,
обглоданные солнцем за века.
А дальше все — огонь и синева.
Ослепший взгляд угадывал нескоре,
что там,
должно быть,
начиналось море,
сквозь блики различное едва.
Весь ветхий элегический пейзаж
был оживлен художницы фигурой.
Робея пред классической натурой,

не слушался неловкий карандаш.
Усердие ее не оставляло.
Она альбом старательно листала,
примериваясь к каждому листу...
Колонны уходили в высоту,
и море равнодушно лепетало.
И жизни человека не хватало,
чтобы поймать последнюю черту.



Встреча мельком, на минуту —
по тропинке вдоль ограды
мы сближаемся, как будто
секунданты развели...
Узнавание — вспышка взгляда,
миг заминки, папироса,
и бессмысленность вопроса:
«Счастлив ли?»
Усмехаюсь: промах явный.
(Верю в свет воспоминаний,
но нелепей динозавра
счастье наяву!)
До свиданья, враг мой верный.
Так уж мир устроен древний,
что одумавшись назавтра
счастьем назову
день несбыточный, вчерашний —
звон, идущий ниоткуда,
и покуда хватит взгляда
дали мутного стекла,
где чугунная ограда
зачарованного сада,
где минута встречи нашей
истекла.

СКИТ

Зажатый в зарослей тиски,
пугая глухотою бревен,
тарашит два оконца скит,
насупив мох на них, как брови.

Глухим урочищем, один,
тропою трудной, непрямою,
к нему выходит из глубин
лесных скиталец с котомою...

Скиталец, скит... Все это снясь
или мерещась мне явилось,
но жизнь моя остановилась,
к оклизым бревнам прислонясь.

...Остаться, согнуться, затворить
себя, огородится тыном
и разучиться говорить
на языке людей постылом!

Прожить лет двести, не считать
земных минут, подобных праху,
медведю ухо щекотать,
из губ кормить лесную птаху,

зимою слушать вой в трубе
и, заточаясь на полгода,
богов придумывать себе
немых и темных, как природа...

Но знаю, грешный, не смогу.
Припав к оконцу — не к божнице,
все буду слушать дальний гул,
следить далекие зарницы.

Взбешусь. Иконы прокляну.
И боле не борясь напрасно,
швырнув на сеник головню,
сбегу от божьего соблазна.

СПАСЫ

Так предрекала страшная судьба:
сойти с ума, податься в богомазы,
чтоб жили,
одного его губя,
всех остальных прощающие Спасы.
Все решено —
душе углями стать
за то, что стены храмов пламенеют,
жрать лебеду и под рогожей спать,
когда от боли руки онемеют.
Жена его утешится с другим.
Друзья о нем смешные сложат сказки.
На милостыню купленные им,
за сотни лет не омрачатся краски.
А там —
бог весть,
быть может, и душа,
пропащая, истлевшая когда-то,
воротится на землю виновато,
как некогда — чиста и хороша...

СОТВОРЕНИЕ МОРЯ

Наверное, сперва
рычали трактора,
и хищные ножи
бульдозеров скрипели,

волна
и вправду солона
от всплывшего со дна
божественного пота.

ЛЕВША

Я от рождения левша.
Наклонена во мне душа.
Расположилась, как хотела, —
налево, к сердцу тяготела.

Ее спрямляли — ни черта.
Опять на старое сносило.
О, скольких умников бесила
души моей неправота!

Дразнили. Рос очкаст и худ.
Левша, заика и с прыщами...
Пришлось поставить левый хук
для объяснения с правшами.

Неравноправье рук смешно.
Но дело глубже оказалось:
оно души моей касалось,
как выше оговорено.

Теперь не выправить судьбу.
Не то, чтоб я такой упрямый,
но руку левую в гробу
пускай положат сверху правой.

Пока же — все ко мне добры.
Уродство все-таки сказалось:
Не беспокоят до поры,
пока блоха не расковалась.



Туда никому заглянуть не дано.
Впустую волхвы словоблудят.
Не спрашивай, что нам с тобой суждено.
Откуда я знаю, что будет.

Художник — вне позы жреца и судьи,
провидящих, бездны пронзая.
Почти наугад он бредет впереди
по минному полю познания.

Последней воронкой отмечен рубеж —
а дальше ведет лишь отвага.
И места подошвам хватает в обрез
для каждого смертного шага.

Там дремлет земля — неоткрытая сплошь,
слабеющих подстерегая.
Фальшивое слово, малейшая ложь —
и всё. И прощай, дорогая!

Сверкнет, заклубится — не видно ни зги.
Но дым разойдется едва лишь —
и, переступив через кости в грязи,
прорвется вперед мой товарищ.

А следом проложат асфальт средь травы,
катись хоть на кресле-каталке...
И только тогда приплетутся волхвы
и карты раскинут гадалки.



Что за жадность заложена в слове,
что за алчности вечной печать —

чуть промолвишь — потребует крови,
а иначе не станет звучать.

Здесь идти на обман — это дурость.
Как ни вздумай рассказ повернуть,
ничего невозможно придумать
и нельзя никого обмануть.

Остается без позы дешевой
признаваться сквозь слезы стыда
в том, что вправду случилось с душою.
Остальное — не стоит труда.



...И все же о вечном, о вечном,
о том, что превыше смертей —
о небе глубоком и млечном,
где звездная бродит метель,

о том, как в огромной природе
встречаются наши пути,
о том, как все в мире проходит
и все же не может пройти.

О том, что чудес не бывает:
назначена гибель всему.
Душа, как свеча, убывает,
но светит упрямо во тьму —

чтоб даже и самая вечность,
оттаяла на языке,
смирясь с тем, что теплится нечто
в мертвящем ее сквозняке.



Свет приглушен,
как будто тканью штор.

Пустынный пляж.

Газету ветер носит.

Киоск закрыт.

Рокошет желтый шторм.

На побережье

наступает осень.

А вдалеке —

помедли же, постой! —

прекрасная, босая, молодая,

судьбы моей секретом обладая,

проходишь ты

по отмели пустой.

Не воротить. Прощай. Благослови,

чтоб век прожить без горького укора,

чтоб умереть,

когда-нибудь, нескоро,

естественною смертью —

от любви.

...У голубой каемки блюдечка земли

Пускай мне море вечно чудится вдали,

где вместе ярости

и нежности полна

о камни разбивается волна,

одна, вторая...

Зреют и грозят

и, сломленные, катятся назад,

мир изменив едва ль на волосок...

Но камни

обращаются в песок,

а по песку —

постой же, задержись! —

прекрасная, босая, молодая,

о будущем пока еще гадая,
проходит, не оглядываясь, жизнь.

ИЗ ЦИКЛА «АЛЬБОМ С ВИДАМИ КРЫМА»

1

По правилам воздушной перспективы
далекое казалось голубым.
Прощебетала птичка в объективе:
— Замрите! —
непоседам молодым.
Мы замерли.
Мы глупость совершили.
Послушались фотографа — и вот
мгновенье то, в котором оба жили,
теперь от нас в отдельности живет.
Я больше фотографий не люблю.
Куда честнее зеркало простое.
Взгляну в него,
Увижу все — и совесть
уже вовек свою не обелю.
...А двое те взирают со стены
с обидным снисхождением иконным.
Нам, путаным, нелепым, незнакомым,
с усмешкою сочувствуют они.
Войдешь домой —
и глаз не подними:
встречают обитатели портрета —
из тьмы времен,
из траурной каймы,
в квадрате ослепительного света,
за все, что случилось, требовать ответа —
самим себе явившиеся
мы.

Перехитрив недуг,
 благодаря заботе
 врачей, вернулась вдруг
 душа в обитель плоти.

Снаружи дом обшит
 каким-то драпом темным.
 Внутри — вполне обжит.
 Но только кем — не вспомнить.

Душа с огнем в руке
 бредет наверх понуро.
 Что там, на чердаке,
 под крышей из велюра?

Пережитого хлам
 здесь кое-как свалили.
 И плесень по углам.
 И всё под слоем пыли.

Мартышка, грузовик,
 лошадка без копыта...
 Ничто не говорит
 о детстве. Все забыто.

Вот глобус... Что за прок
 в разметке карандашной
 несбывшихся дорог?
 Душа бывала дальше. ,

Здесь свод успел протечь...
 Вот рукописей свалка.
 Размытых строк прочесть
 теперь нельзя, а жалко!

...Так мыкалась душа,
совсем уже поникнув,
покуда не нашла
поблекших фотоснимков.

Два юные лица
у южного вокзала,
и море без конца...

Заплакала. Узнала.

СТАРАТЕЛЬ

Словно в кино, прокручу от начала
память уже не пустычного срока...
Всякого разного было немало.
А настоящего было немного.

Несколько строчек мальчишеских, гордых.
Не повторить их звенящего лада.
Несколько месяцев, трудных и горьких,
прожитых чисто и твердо — как надо.

Несколько драк — фигуральных и просто,
где победил, хоть и вышел побитым.
Отшелушилась со шрамов короста...

Кажется, все. Ничего не забыто.

То, что добыто по каплям, по крохам,
клада случайного станет дороже.
Так и сложилась судьба ненароком —
хоть не большое богатство, а все же...



Не думайте, заносчивые люди,
что вы на землю чувства принесли.
Готовыми — как яблочко на блюде —
вы взяли их от щедрости земли.

В младенчестве своем планеты гений
был буен и капризен до поры,
и смены его детских настроений
запечатлялись складками коры.

В степях жила свобода. В реках — дума.
В лесах — добро. В больших морях — мечты.
Свирепость в тучах двигалась угрюмо.
И гордость гор взирала с высоты.

И все же не хватало здесь чего-то.
Так песня не бывает хороша,
покуда в ней не прозвучала нота
неправильная, как сама душа.

ГЛИССЕР

Это скорость, это риск,
это жизнь, а значит — радость!..

Шпарит глиссер среди брызг,
среди искр, цветных, как бисер,
разбивая блики вод
в блестки, вдребезги, в туман.
За кормою из тумана
вырастают десять радуг,
ударяют в небосвод,
убегают по волнам..

Это скорость,
Это радость!

...Я на скучном берегу,
я седею понемногу,
но до сей поры, ей-богу,
наглядеться не могу,
как запущена кривою
горизонта тетивою,
эта светлая стрела,
над пучиной днищем рея,
режет лезвием острее
волн ленивые тела!..

А в кафе на берегу
подают люля-кебабы.
Сверху знойным покрывалом
тент обвис, как паруса...

О, когда бы пролетал он
раз хотя бы в полчаса!



Ступаю на пирс, где корабль-исполин
нацелил железного корпуса клин
на марево в ярком просторе...
Ни с чем этот мир голубой не сравним,
где вечным подростком скитается Грин,
где блики на черных боках субмарин
и жгучие запахи соли.

Я сын моряка и брат моряка.
Как белая чайка, быстра и легка,
пикирует в светлую воду,

я в пену кидаюсь с полоски песка.
Дорога до встречи была не близка.
И вот — обретаю, что долго искал —
безмерную моря свободу.

Все было — и юность неслась на волне,
и первая боль оседала на дне,
и жажда тянула к прибою.
Все скрылось во времени, как в пелене.
И все-таки жизнь не приснилась во сне —
ничто не пропало, оставшись во мне
прозрачной и горькой любовью.

Шуми, мое море. Сверкай и шторми,
чтоб жило приволье твое меж людьми,
чтоб мелкое в нас отступало.
Своей необъятности дай нам взаймы,
чтоб не издержались по мелочи мы,
чтоб в круге грошовой пустой кутерьмы
великое в нас не пропало.

Я сын моряка и брат моряка —
но накрепко держат меня берега,
клещами сойдясь над заливом.
Согласен, что я никудышный матрос.
Но в том моя гордость, что спеть довелось
о море родимом, соленом от слез,
и все-таки — море счастливом.

РАКОВИНА

Я здесь загорел, как пират.
На север,
домой собираюсь.
На сувениры август
пришла пора разбирать.

Ларчик свой отопри,
лето мое морское!
Не жемчугом одари,
но раковинной простою,
гулкой,
как я внутри.
Кто ее надоумил
сходству печальному?
Был там жилец,
да умер...

Открытый на свете всему,
построенный в глубях бездонных,
души перламутровой домик
на память с собою возьму.

Приеду, на полку поставлю.
Пускай весь век напролет
безделка эта пустая
возле меня поет.

Так просто поверить эху
минувших людей и мест —
взять и приблизить к уху,
как будто там что-то есть.
Будто бы —
чаек крики
в громадных чужих морях,
земли островок невеликий
качающих на волнах...

Понять не могу —
что там?
Какого тень бытия?
Одно только знаю точно:
когда-нибудь

и я
по тем морям затоскую,
пожитки в путь соберу...

Забуду на берегу
лишь раковину пустую,
поющую на ветру.



О молодость,
не обольщайся,
что все с тобой переболит.
Под старость
острый вкус прощальный
еще нам губы опалит.

И жизнь,
тянись хоть сто столетий,
вся уберется в две строки:
есть первый раз,
есть раз последний.
Все между ними — пустяки.

ЕГИПЕТСКАЯ БАЛЛАДА

Образуют круг времен
дней сливающихся спицы.
Мчится юный фараон
в золоченой колеснице.

Он справляет торжество
что ни схватка, что ни битва.
И на ложе у него
то хеттянка, то нубийка.

Вдоволь кипрского вина —
угощает победитель.

Пьет с друзьями дотемна
двух Египтов повелитель.

И выходит в час ночной
любоваться звездной далью,
и покорный лев ручной
лизет царскую сандалю.

Но военный брошен клич —
снова гнев слепит зеницы.

Колесница мчится. Лишь
дней поблескивают спицы.

Неизбывен ход планет.
И хоть он столь молод с виду,
фараону тридцать лет.
Время строить пирамиду!

Время строить пирамиду —
краткой памяти назло.
И геометра стило
проторяет путь Евклиду.

В номы выслали гонцов.
И опять мелькают спицы:
смуты, ропоты жрецов,
слезы матери-царицы:

— Устыдись моих седин!
Чем я гневаю Исиду?
Позабудь забавы, сын!
Время строить пирамиду!

Не сдается фараон.
Отсылая жестом свиту,

прочь уходит.

А вдогон:

— Время строить пирамиду!

Он твердит, забыв о сне:

— Я диктую полумиру,
кто ж отмеривает мне
время — строить пирамиду?
Кто желает мне конца?
Кто прикажет жить старея,
словно сыну кузнеца
или внуку брадобрея,
мне, властителю Урея,
мне, носителю венца?..

Нет ответа. Тьма в глазах —
то ли тени, то ли птицы,
то ли спицы колеса
беспощадной колесницы.

Нет ответа. Жалкий крик
повторится — нет ответа...

И уже почти старик
входит в гулкий зал совета.
Как велось из рода в род,
говорит, стерпев обиду:
— Время строить пирамиду.

И построит. И умрет.



Увяданье золотое.
Чистой влаги пелена.

Птица плачет:
— Кто я? Кто я?
Я не знаю, кто она.

Может, это на просторе,
в звонком воздухе кружа,
далеко, за сине-море
собирается душа.

Вдоволь в небе повитала,
в горних высях летних дней.
Что творится, повидала,
на земле и что — над ней.

Но не ведая покоя,
так беспомощно-умна,
все рыдает:
— Кто я? Кто я?
И не знает, кто она.

КЛЮЧ

И теперь,
и когда умру,
бить ключу в голубом бору,
в лад стволам гудеть на ветру,
розоветь траве поутру —
и теперь, и когда умру.

Веры тленны
и имена.
Вечность, если и суждена,
не крестам, не местам святым,
а цветам полевым простым.

Цвесть бы с ними,
да вот — нельзя.
Помяните ж, когда умру,
все, что билось во мне не зря,
словно ключ в голубом бору.

СОДЕРЖАНИЕ

- «Я — след своей бабушки...»
Эскадрон — 4
«Землянка» — 6
Паровоз — 6
Опоры — 8
«Как без тебя я жил?...» — 9
«Пройди, моя любовь...» — 9
«Еще над нами лето не умолкло...» — 10
«Уже не плачу по ночам...» — 10
«Ничего печальней нету...» — 11
«Уже мне молодость не в новость...» — 12
«Как бы печальные японцы...» — 12
«Листья давно облетели...» — 12
«Прохожий поймает за локоть...» — 13
«Снега чрезмерны, как на вырост...» — 13
«Мир проявляется с рассветом...» — 14
Композиция на темы ранних стихотворений — 16
«Школьник седеющий...» — 17
Состояние — 17
«Спасибо, ящик-телевизор...» — 18
«Еще не сутулый в плечах...» — 19
«Конечно, грущу я напрасно...» — 19
Ночлег Дон Жуана — 20
Генуэзская башня — 22
«Это в прошлом — грусти не грусти...» — 24
Херсонесский этюд — 25
«Встреча мельком, на минуту...» — 26
Скит — 27
Спасы — 28
Сотворение моря — 28
Левша — 30
«Туда никому заглянуть не дано...» — 31
«Что за жадность заложена в слове...» — 31
«...И все же о вечном, о вечном...» — 32
«Свет приглушен...» — 33

Из цикла «Альбом с видами Крыма» — 34

1. «По правилам воздушной перспективы...» — 34

2. «Перехитрив недуг...» — 35

Старатель — 36

Глиссер — 37

«Ступаю на пирс, где корабль-исполин...» — 38

Раковина — 39

«О молодость...» — 41

Египетская баллада — 41

«Увяданье золотое...» — 43

Ключ — 44

Игорь Валентинович Чурдалёв

КЛЮЧ

Стихи

Редактор А. А. Белкин

Художник С. Н. Семиков

Худож. редактор В. В. Кременецкий

Техн. редактор М. И. Соколова

Корректор О. А. Гаркавцева

ИБ № 1142

Сдано в набор 16.05.83. Подписано к печати 29.08.83.
МЦ 00396. Формат 70x100^{1/32}. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл.печ. л. 1,95.
Уч.-изд. л. 1,87. Тираж 5000 экз. Заказ № 2239. Цена 20 коп.

Волго-Вятское книжное издательство, 603019, г. Горький,
Кремль, 4-й корпус.

Кировская областная типография, управления издательств, полиграфии и книжной торговли, 610000, г. Киров, Динамовский проезд, 4.

№9238-1экз.

К84 (2Рос=Рус) 6

Ч-93

Чурдалев, И.В.

Ключ.

20-00

20 коп.

